

<https://doi.org/10.30853/filnauki.2019.3.76>

Богданова Ольга Владимировна

АЛЛЮЗИЙНЫЙ ПОДТЕКСТ В РОМАНЕ А. С. ПУШКИНА "КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА"

В данном исследовании рассматривается текст классической русской литературы - роман А. С. Пушкина "Капитанская дочка", многократно интерпретированный в отечественном литературоведении. Однако в анализе предлагается новый аспект изучения - аллюзийный подтекст романа, по мнению автора работы, ориентированный на выстраивание параллели между историческими событиями, изображенными в повествовании, и недавними (для современников Пушкина) событиями, имевшими место на Сенатской площади. Автор статьи показывает, что Пушкин сознательно включает в текст романа значимые детали, мотивы, обстоятельства, которые неизбежно должны были породить в сознании современников непосредственные аллюзии к дворянскому бунту в декабре 1825 года, утверждая мысль писателя о "русском бунте, бессмысленном и беспощадном".

Адрес статьи: www.gramota.net/materials/2/2019/3/76.html

Источник

Филологические науки. Вопросы теории и практики

Тамбов: Грамота, 2019. Том 12. Выпуск 3. С. 365-370. ISSN 1997-2911.

Адрес журнала: www.gramota.net/editions/2.html

Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/2/2019/3/

© Издательство "Грамота"

Информация о возможности публикации статей в журнале размещена на Интернет сайте издательства: www.gramota.net

Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: phil@gramota.net

Русская литература

Russian Literature

УДК 82-32

Дата поступления рукописи: 05.02.2019

<https://doi.org/10.30853/filnauki.2019.3.76>

В данном исследовании рассматривается текст классической русской литературы – роман А. С. Пушкина «Капитанская дочка», многократно интерпретированный в отечественном литературоведении. Однако в анализе предлагается новый аспект изучения – аллюзийный подтекст романа, по мнению автора работы, ориентированный на выстраивание параллели между историческими событиями, изображенными в повествовании, и недавними (для современников Пушкина) событиями, имевшими место на Сенатской площади. Автор статьи показывает, что Пушкин сознательно включает в текст романа значимые детали, мотивы, обстоятельства, которые неизбежно должны были породить в сознании современников непосредственные аллюзии к дворянскому бунту в декабре 1825 года, утверждая мысль писателя о «русском бунте, бессмысленном и беспощадном».

Ключевые слова и фразы: русская литература XIX века; А. С. Пушкин; роман «Капитанская дочка»; аллюзийный подтекст; исторические события 14 декабря 1825 года; актуализация декабристской темы; криптография классического текста.

Богданова Ольга Владимировна, д. филол. н., профессор

Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена, г. Санкт-Петербург
olgabogdanova03@mail.ru

АЛЛЮЗИЙНЫЙ ПОДТЕКСТ В РОМАНЕ А. С. ПУШКИНА «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»

Как показывает литературная практика, историческая тема редко привлекает художников в своей дискурсивной сущности, скорее в апелляции к современности, в выстраивании параллели между прошлым и настоящим. Если обратиться к историческому роману А. С. Пушкина «Капитанская дочка» (1836), то и в его осмыслении (при обилии и многообразии научно-критической литературы [1; 2-10; 13]) обнаруживаются новые и неожиданные ракурсы. **Цель** настоящей работы – раскрыть аллюзийный подтекст пушкинского романа, обнаружить новые, ранее не замеченные критикой смысловые составляющие, выявить сокрытые в подтексте романа «отсылочные» слагаемые. Конкретными **задачами**, возникающими в ходе исследования, оказываются следующие: если верно исходное положение о наличии аллюзийного подтекста романа, ранее не принятого во внимание критиками и литературоведами, то о каком настоящем говорит Пушкин в художественном тексте? Какова «латентная» адресация романа, связанного с изображением отдаленной исторической эпохи? В чем и как дает о себе знать криптографичность исторической наррации о пугачевском восстании? Решение поставленных задач позволит выявить и наметить новые векторы исследовательской мысли в обращении к хрестоматийно известному классическому пушкинскому тексту.

А priori можно предположить, что для современников Пушкина этим аллюзийным *настоящим* были события декабря 1825 года, мятежное выступление прогрессивно мыслящих дворян на Сенатской площади.

Казалось бы, как могут быть сопоставлены в романе события крестьянской войны 1773 года и события недавней истории, участниками которых были дворяне, в том числе и друзья Пушкина, лицеисты Иван Пущин и Вильгельм Кюхельбекер. Но одним из первых факторов адресации в данном случае может быть сочтена дата, стоящая под текстом романа, – 19 октября 1836 года.

Как известно, литературная практика (традиция) не диктует необходимости проставлять дату под прозаическим текстом, к тому же точную дату. Пушкину достаточно было (бы) ограничиться подписью – *издатель*. Однако писатель не только указывает конкретную дату, но и ранее значившееся в рукописи *23 июля* заменяет на *19 октября 1836 года*. Понятно, что подобная замена цифр не случайна и играет роль потаенной адресации, своеобразной криптограммы, указывающей (это не могло ускользнуть от современников) на день двадцатипятилетия открытия Императорского Царскосельского лицея, на памятный (судьбоносный) день в жизни поэта.

Вполне вероятно, что маркированность даты 19 октября может быть связана с именем *безымянного* издателя – А. С. Пушкин. Это соображение по поводу даты 19 октября высказал М. И. Гиллельсон в комментарии

к тексту «Капитанской дочки» [5, с. 174], напоминая, что первоначальный замысел Пушкина состоял в том, чтобы издать роман анонимно, инкогнито, без вынесения собственного имени на титул. Дата лицейского юбилея, по мысли исследователя, в таком случае могла бы едва ли не точно указать на конфидента, на авторство одного из лицейцев, т.е. Пушкина.

Однако проставленную под текстом дату можно счесть и дедикативной стратегией – намерением посвятить юбилею лицейского братства в текущем году не стихотворение (незавершенное «Была пора: наш праздник молодой...»), не поэму (как «Медный всадник» в 1833 году [3]), но роман, словно бы напоминая адресатам посвящения о верности лицейскому братству, о приверженности законам долга и чести, в образе наивного, но честного Петра Гринева воскрешая память о юношеской поре.

Выбор типа адресности может быть поставлен в зависимость и от указания не на день, но на год – 1836-й, который для современников Пушкина включал в себя еще одну актуальную коннотацию – напоминание о десятилетии коронации Николая I и, как следствие, о десяти годах со дня казни заговорщиков, участников восстания на Сенатской площади, воспоминание о высылке «несчастливых представителей поколения» в Сибирь. Читатели пушкинского времени привыкли видеть в литературных творениях аллюзии-намеки на политическую современность, потому 1836 год, десятилетний срок-годовщина высылки в сибирскую каторгу декабристов, становился для современников поводом к надежде на царскую милость – на прощение сосланных родных и друзей, на смягчение Николаем I участи ссыльных.

Между тем остается сомнение: что дает основание видеть в обстоятельствах крестьянского бунта на Яике живые аллюзии к событиям декабря 1825 года, как в сознании поэта могли смыкаться факты кровавой и жестокой пугачевщины с благородным возмущением-порывом на Сенатской площади?

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что уже в «Истории пугачевского бунта» (1834) Пушкина, точнее в «Замечаниях о бунте» и Приложениях к «Истории...», в тексте документов появляются словмаркеры, которые заставляют пробудить некие аллюзийные отсылки к событиям на Сенатской площади 1825 года. Так, в Замечании 6 Пушкин-историк упоминает о коменданте Симбирской крепости, полковнике П. М. Чернышеве. Пушкинский комментарий к его имени звучит несколько пространно: «... тот самый, о котором государыня Екатерина II говорит в своих записках», он «был некогда камер-лакеем», «удален из Петербурга повелением императрицы Елисаветы Петровны», «Императрица Екатерина, вступив на престол, осыпала его и брата своими милостями» и – совершенно излишнее – «Старший <Чернышев> умер в Петербурге комендантом крепости» [12, т. 7]. Последнее замечание обращает на себя внимание своей неожиданностью и несвязанностью с событиями крестьянской войны, но указанием на Петропавловскую крепость (знаки-концепты *бунт* и *Петропавловская крепость* оказываются сомкнутыми). И таких деталей в тексте «Истории...» можно найти не одну.

Что касается романа «Капитанская дочка», то и в его тексте проступают некие знаки-сигналы, которые выявляют тайнопись. Интертексты придают повествованию символический подтекст и выводят наррацию за пределы хронотопа XVIII века. Самый общий и самый символический из них – образ бурана, метели, снежного моря-степи («это было похоже на плавание по бурному морю...») [Там же, т. 5], который не только в образно-поэтическом плане, но и на уровне «календарной» темпоральности актуализировал в сознании реципиента корреляцию понятий *метель* и *мятеж*, *буран* и *бунт*, *волны* и *волнение* (фонетическое созвучие оказывается немаловажным).

Как известно специалистам, образная символика подобного рода нередко пронизывала стихи-отклики на события декабря 1825 года, будь то лирика Пушкина или его друзей-стихотворцев (П. А. Вяземского, А. И. Одоевского и др.). Образы волн, метели, бурана, снежной стихии опосредовали многие поэтические элегии и послания после 1825 года, по видимости – пейзажные, по содержанию – двуслойные [3, с. 49-51].

Но если перейти непосредственно к роману, то из наблюдений над текстом «Капитанской дочки» ясно, что одной из важнейших проблем, которой касался Пушкин, была проблема народного просвещения, вопросы образования и воспитания – личности и общества в целом. Отсюда столь выраженный в первой главе интертекст, обращенный к комедии «воспитания и злонравия» «Недоросль» Д. И. Фонвизина. Успешное решение проблемы «народного воспитания», по Пушкину, позволит избежать страшных потрясений, избавить «многих... людей <от> преступных заблуждений» («Заметки о русской истории XVIII века» [12, т. 6]). Вслед за Фонвизиным, Пушкин убежден, что «одно просвещение в состоянии удержать новые безумства, новые общественные бедствия» [Там же]. В оценке «заблуждений» 1825 года Пушкин исходит именно из этого: «Последние происшествия обнаружили много печальных истин. Недостаток просвещения и нравственности вовлек многих молодых людей в преступные заблуждения. Политические изменения, вынужденные у других народов силою обстоятельств и долговременным приготвлением, вдруг сделались у нас предметом замыслов и злонамеренных усилий. Лет 15 тому назад молодые люди занимались только военною службою, старались отличиться одною светскою образованностию или шалостями; литература (в то время столь свободная) не имела никакого направления; воспитание ни в чем не отклонялось от первоначальных начертаний. 10 лет спустя мы увидели либеральные идеи необходимой вывеской хорошего воспитания, разговор исключительно политический; литературу (подавленную самой своенравною цензурою), превратившуюся в рукописные пасквили на правительство и возмутительные песни; наконец, и тайные общества, заговоры, замыслы более или менее кровавые и безумные» («О народном образовании») [Там же].

В приведенной цитате обращают на себя внимание первая и последняя строки. Указывая на недостатки просвещения современного ему общества, Пушкин именно в отсутствии системы воспитания видит причину

«последних происшествий», т.е. событий декабря 1825 года. А последняя из процитированных строк с еще большей определенностью коррелирует *бунт дворянский* и *бунт крестьянский*: Пушкин прямо указывает на «тайные общества, заговоры, замыслы» и дает им оценку – «более или менее кровавые и безумные». Для чуткого читателя очевидно, что выразительные эпитеты цитируемой строки до удивления близки известной сентенции из «Капитанской дочки» – о русском бунте, «бессмысленном и беспощадном». Поэтологический уровень высказывания ясно эксплицирует синонимическое родство итогов бунта исторического и бунта современного, мятежа казацко-крестьянского и гвардейски-дворянского. Обращение к восстанию *народному* становится поводом к осмыслению истоков восстания *дворянского*.

Разделявший с декабристами многие *идеи* о необходимости преобразования российского общества (в т.ч. просвещения народного), Пушкин, однако, не принимал *форм* революционной борьбы, предлагаемых (и осуществленных) участниками выступления на Сенатской площади. Оставаясь сторонником монархии, последовательным проводником идеи постепенного эволюционного развития государственной системы (вспомним историю отставки Гринева-старшего, сторонника Миниха), в романе «Капитанская дочка» Пушкин Гринева-младшего наделяет убеждением о необходимости отказа от радикализма и признания постепенности социальных перемен, легальных форм социального развития. «Лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от одного улучшения нравов, без насильственных потрясений политических» (курсив автора статьи. – О. Б.) [Там же, т. 5].

Любопытно, что концепт ЭШАФОТ/ВИСЕЛИЦА – и в «Истории пугачевского бунта», и в «Капитанской дочке» – оказывается еще одним знаком-маркером, актуализирующим связь событий пугачевщины с декабрьскими событиями 1825 года. Дело в том, что историкам известно, что смертные казни были формой экзекуции былых исторических эпох, например, Петра I или Елизаветы Петровны. Но в исторически неотдаленном от Пушкина времени казни в российском государстве не практиковались – тем более «низкая» и «гнусная» казнь через повешение (в случае с участниками мятежа на Сенатской площади четвертование, предусмотренное законом при покушении на жизнь царя, Николай I отверг как способ, неподобающий европейской стране; расстрел считал слишком «высоким» для недостойных осужденных; оставалась виселица). Обилие «висельных» эпизодов в «Истории...» и в «Капитанской дочке» (например, многочисленные известия о повешенных в различных оренбургских и казанских крепостях, казнь коменданта Миронова и Ивана Игнатича, виселица в «Пропущенной главе» и др.) у читателей 1830-х годов не могло не вызвать ассоциаций-переключек со страшной и памятной виселицей на кронверке Петропавловской крепости 13 (25) июля 1826 года.

Примечательно, что, как свидетельствуют документы, в 1826 году при приведении приговора в исполнение рядом с виселицей на кронверке находилось значительное число официальных лиц (генералы, полицмейстеры, протоиерей, квартальные надзиратели и др.). В их числе привлекают внимание фамилия Чернышева (как помним, «излишняя» в «Истории пугачевского бунта») и даже фамилия Княжнина (не литератора, но обер-полицмейстера), тем не менее устойчиво присутствующая в тексте пушкинского романа. Как известно, трагедия Я. Б. Княжнина «Вадим Новгородский» была на рубеже XVIII-XIX веков своеобразным знаменем оппозиционного свободомыслия и фигурировала во время судебного следствия над декабристами. Не исключено, что мощный интертекст фонвизинской комедии «Недоросль» – сквозное присутствие в тексте образа и мысли выдающегося комедиографа – мог невольно выводить в надтекст романа и имя декабриста М. А. Фонвизина, племянника знаменитого классика. И подобных аллюзий множество. Сегодняшнее знание и ассоциации в малой степени совпадают с теми, которые порождались подобного рода «проходными» деталями, однако для современников Пушкина эти «мелочи» со всей определенностью значили много больше, чем для нас.

Возвращаясь к ранее упомянутым заметкам «О народном воспитании», приведем еще одну цитату, касающуюся событий декабря 1825 года: «Ясно, что походам 13 и 14 года, пребыванию наших войск во Франции и в Германии должно приписать... влияние на дух и нравы того поколения, коего несчастные представители погибли в наших глазах; должно надеяться, что люди, разделявшие образ мыслей заговорщиков, обрели разум; что, с одной стороны, они увидели ничтожность своих замыслов и средств, с другой – необъятную силу правительства, основанную на силе вещей...» [Там же, т. 6]. В приведенном суждении Пушкина легко обнаруживается аллюзийная связь с «Капитанской дочкой», с убеждением рассказчика-мемуариста Гринева о *закономерности* подавления восстания крестьянского возмущения более сильными – «правильными» (правительственными) – войсками. Неслучайно в «Пропущенной главе» романа «Капитанская дочка», повествующей о бунте крестьян в поместье отца Гринева, герой свои наблюдения над бунтом итожит в стилистике негативно-уничижительной: «Бунт их был заблуждение, мгновенное пьянство, а не изъяснение их негодований» [Там же, т. 5]. Веры в законность и закономерность народного возмущения нет ни у Пушкина-публициста, ни у Пушкина-поэта.

В «Капитанской дочке» Пушкин развивает мысль о различиях в дворянстве – *старом* и *новом*. По Пушкину, во время пугачевского бунта новое дворянство было ответственно за разгорание крестьянского «пожара», ибо готовность «случайных» дворян изменить идеалам и принести клятвы верности Пугачеву укрепили ряды мятежников. Но роль новых дворян и в обстоятельствах XIX века сопровождается у Пушкина негативной коннотацией. В заметках «О дворянстве» Пушкин писал: «Постепенное падение дворянства; что из этого следует? Восшествие Екатерины II, 14 декабря и т.д.» [Там же, т. 6]. То есть события 1773 года пробуждали в Пушкине параллель к заговору 1825 года. И можно предположить, что создание образов центральных героев романа «Капитанская дочка», прежде всего образа *неоднозначного* Швабрина, тоже могло быть попыткой писателя (и друга) найти для себя объяснение тому, почему родовитые дворяне Пущин и Кюхельбекер (причастные к дате 19 октября) оказались среди мятежников, подобно Шванвичу,

потомственному дворянину, примкнувшему (по неизвестной причине) к пугачевскому бунту. С одной стороны, поступку реального Шванвича Пушкин разумных объяснений не находит (см. «Историю пугачевского бунта»), но, с другой стороны, известен его собственный ответ императору Николаю о том, что если бы 14 декабря он был в Петербурге, то он оказался бы на Сенатской площади среди восставших. Случайность? Измена? Тайна? Не принимая сущности и формы любого мятежа, тем не менее Пушкин признается, что мог бы оказаться среди бунтовщиков. Парадокс. Ситуация, не имеющая объяснения. Разгадать умом ее Пушкин не может. Потому в романе автор «утаивает» (так и не раскрывает) мотивы поведения и поступков Швабрина. Оттого, может быть, портрет Швабрина так сходен с портретом Пушкина («невысокого роста», «с лицом смуглым и отменно некрасивым, но чрезвычайно живым», «сказал мне по-французски» [Там же, т. 5]). Поэт не только в Швабрине (но и в себе) видел эту необъяснимую двойственность, парадоксальную неоднозначность и невозможность интерпретировать все события просто и однозначно, как это сделал (не)объективный мемуарист Гринев, переводя всё необъяснимое в сферу упрощенного нравственного осуждения. Как обнаруживает романский текст, в рассказе Гринева Швабрин предстает неправдоподобно цельным злодеем (с «адской усмешкой»), не менее сказочным, чем сказочный же благодетель Пугачев. Но недомолвки, сопровождающие образ Швабрина, отражают тайну собственной позиции Пушкина, относившегося неоднозначно как к бунту народному, так и к бунту дворянскому. В этой связи становится более понятной *легкая*, но намечаемая в романе дихотомия образа Гринева – «его» (авторские) колебания между *осознанным* обращением за помощью к Пугачеву или *случайностью* попадания в стан бунтовщиков в поисках путей спасения Маши.

Переключки-аллюзии между прошлым и настоящим отчетливо поддерживаются Пушкиным на протяжении всего романа. И среди них – пространственная составляющая хронотопа, ибо современникам Пушкина уже только топонимика изображаемых событий должна была напоминать о ссылке декабристов; сами места событий романа предоставляли основу для историко-временных параллелей. Как известно, Оренбургская губерния была одним из первых мест этапирования участников восстания, помещения их в крепостные работы и на поселение (П. А. Бестужев, Н. П. Кожевников, А. В. Веденяпин, Ф. Г. Вишневецкий, Н. Г. Смирнов, А. А. Фок, А. А. Жемчужников, П. М. Кудряшев и др.). Скупые, но зримые картины здешних мест, набросанные Пушкиным в романе («...я стал глядеть в узенькое окошко»: «Передо мною простиралась печальная степь», «наискось стояло несколько избышек», «улицы были тесны и кривы», «избы низки и большею частью покрыты соломою...»), действительно могли вызвать горькие восклицания (ссылных): «И вот в какой стороне осужден я был проводить мою молодость!» [Там же]. Эксплуатация Пушкиным лексемы с корнем *суд*, *осуждение* («осужден я был проводить») наверняка не была случайной. Как в другом случае – эпизод с письмом к родителям Гринева – писатель словно бы невзначай простое и привычное слово *жалоба* заменяет на маркированное *донос* (к Савельичу: «Кто просил тебя писать на меня доносы?» [Там же]). А чуть позже: «...разве ты приставлен ко мне в *шпионы*?» [Там же]. Можно предположить, что все эти «синонимические» ряды у Пушкина семантически значимы, аспективны. В том же контексте оказываются у Пушкина и образы «сибирских рудников» (о Хлопуше – «три раза бежавший с *сибирских рудников*»). И упоминание Пельма – места не только отдельных событий крестьянской войны, но и Пельмского острога как места ссылки декабристов. И подобная сгущенность «говорящих» деталей не может быть спорадической.

Без сомнения в 1836 году, в год десятилетия восшествия на престол Николая I, сцены с присягой, приносимые героями романа «Капитанская дочка» лже-императору Петру III, не могли не породить аллюзий к 1826 году, а следовательно, и к событиям 14 декабря, того дня, на который в Петербурге была назначена переприсяга. Впечатления от эпизодов с пугачевцами-делегатами, распространителями прокламаций и воззваний (подобно Рылееву и Пушину, делегированным в Сенат с манифестом), вплоть до сцен с целованием царской руки, – должны были восприниматься подчеркнуто синхронными.

Более того, обстоятельства причастности Гринева к мятежным событиям на Яике, его вовлеченность в гущу бунта (пусть и крестьянского), последующие эпизоды с *Следственной комиссией*, осуждения и заключения Гринева написаны Пушкиным таким образом, что явно продуцируют двойственную перспективу, второй план, подтекст и затекст. Так, эпизод ареста и доставки Гринева в Казань для проведения следствия организован таким образом, что отчетливо проецирует аллюзии на сравнительно недавние (актуализируемые в 1836 году) события, транспонируя выразительные детали отдаленного прошлого на современность. Передавая атмосферу и обстановку ареста, Гринев сообщает: «Меня посадили в тележку. Со мною сели два гусара с саблями наголо, и я поехал по большой дороге...» [Там же]. Пушкину и его современникам было знакомо, как доставляли арестованных и подозреваемых на допросы или в крепость. Не вызвать живых ассоциаций этот рассказ Гринева не мог.

По приезде в Казань Гринев был доставлен в крепость. «Меня привезли в крепость... Гусары сдали меня караульному офицеру. Он велел кликнуть кузнеца. Надели мне на ноги цепь и заковали ее наглухо...» (в романе мотив цепей дублируется и посредством образа Швабрина – «Через несколько минут загремели цепи, двери отворились и вошел – Швабрин» [Там же]). Концепт-мотив *цепи* был весьма актуален в годы работы Пушкина над романом и явно маркирован, т.к. именно тогда общество, друзья и родные, с одной стороны, с возмущением переживали известие о том, что осужденных (вопреки действующему законодательству) отправляли по этапу в Сибирь в ножных кандалах, с другой стороны, в конце 1820-х – начале 1830-х годов все с нетерпением ждали, когда, наконец, со ссылных декабристов снимут цепи.

Дальнейший эпизод рассказа Гринева организован образом тюремной камеры (как помним, Пущин и Кюхельбекер долгое время пребывали в одиночных камерах различных крепостей – Петропавловской,

Шлиссельбургской, Свеаборгской, Динабургской и др.). Гринев вспоминает: «Потом отвели меня в тюрьму и оставили одного в тесной и темной конурке, с одними голыми стенами и с окошечком, загороженным железною решеткою...» [Там же]. Подобные картины легко могли себе представить современники Пушкина, сумевшие получить скудные весточки от осужденных из заключения или ссылки.

С точки зрения сегодняшних представлений, несколько забавное впечатление в романе производит первая встреча Гринева и капитана Миронова, его *невоенный* и *невоинственный* облик. Гринев сообщает: «Подходя к комендантскому дому, мы увидели на площадке человек двадцать стареньких инвалидов с длинными косами и в треугольных шляпах. Они выстроены были во фронт. Впереди стоял комендант, старик бодрый и высокого роста, в колпаке и в китайчатом халате...» [Там же]. Сегодня эта сцена прочитывается как указание на домашний, обывательский характер службы в далекой оренбургской крепости, как иллюстрация к рассказу Гринева о том, что на дела службы муж и жена Мироновы смотрели как на «свои хозяйские». Однако для современников Пушкина в подобной сцене был и иной смысл. Специалистам-историкам хорошо известно, что при Александре I военная дисциплина (особенно после войны 1812-1815 гг.) чрезмерно ослабла. Военская служба действительно порой походила на хозяйственную деятельность (известно, что в Семеновском полку солдаты занимались ремеслом и торговлей). Дисциплины в армии не было («В... крепости не было ни смотров, ни учений, ни караулов. Комендант по собственной охоте учил иногда своих солдат; но еще не мог добиться, чтобы все они знали, которая сторона правая, которая левая...» [Там же]). Офицеры нередко в местах службы вместо формы носили гражданские фраки и сюртуки, даже на учениях были в гражданской одежде, надев сверху шинель (ср. облачение Зурина, ротмистра гусарского полка: «... в халате, с кием в руке и трубкой в зубах» [Там же]). Оружия не хватало, имевшееся в наличии не содержалось в порядке (вспомним единственную пушку в Белогорской крепости, дуло которой было забито всякой всячиной – «тряпичками, камушками, щепками, бабками и сором всякого рода, запиханным в нее ребятишками» [Там же]). Читатели Пушкина в комичных сценках из времен пугачевского восстания, несомненно, угадывали ироническую проекцию к современности, к ослаблению воинской дисциплины в армии, знакомую всем.

Весьма примечательна и еще одна деталь. В продолжении всей наррации в тексте романа постоянно упоминаются инвалидные роты. Специалисты-историки предположили, что Пушкин допустил анахронизм, говоря о них применительно к событиям 1773 года, квалифицировав образы офицеров-инвалидов как нарушение писателем принципа историзма. Так, М. И. Гиллельсон прямо пишет: «Представляя гарнизон Белогорской крепости исключительно в виде “стареньких инвалидов”, Пушкин допускает анахронизм...» [5, с. 104]. Однако если об «анахронизме» догадываются современные ученые, то вряд ли можно допустить, что этого не знал Пушкин и его осведомленные современники. Скорее иное. Пушкин прекрасно знал об «историческом смещении», но сознательно обратился к нему, чтобы актуализировать в сознании читателей именно этот образ, тех инвалидов, которые (как было известно всем в XIX веке) прежде всего и использовались в качестве охраны при тюрьмах и острогах. Так, в 1796 году при Петропавловской крепости была учреждена особая инвалидная команда для надзора за арестантами, в 1818 году развернутая в подвижную инвалидную роту. То есть инвалидная команда в сознании современников Пушкина напрямую связывалась с Петропавловской крепостью, с заключенными в ней участниками событий 1825 года, с последующей казнью декабристов, с этапированием осужденных.

На наш взгляд, Пушкин не упускает ни малейшей возможности аллюзийно связать события крестьянской войны с недавним бунтом и мыслями о его участниках. Потому так *безвременно* (*надисторично*) звучат строки романа: «Батюшка не хотел верить, чтобы я был замешан в гнусном бунте, коего цель была ниспровержение престола и истребление дворянского рода» [12, т. 5]. Если изъять эти строки из контекста, то понять, о каком именно бунте говорит Пушкин, невозможно.

Двуслownость повествования в «Капитанской дочке» не могла ускользнуть от современников Пушкина – они знали, что во время следствия по делу декабристов, которое вел Николай I лично, в качестве ориентира он использовал «отчет процесса на Пугачевым» [11, с. 111].

Таким образом, можно говорить о том, что Пушкин сознательно рассыпал по тексту романа «Капитанская дочка» узнаваемые знаки-сигналы, которые эксплицитовали нужные писателю ассоциации, активизировали необходимые параллели и сопоставления. Потому можно сделать заключение, что, говоря о романе Пушкина «Капитанская дочка», вряд ли справедливо выводить на первый план образ народного предводителя Емельяна Пугачева, его ставить в центр повествования. Скорее, следует обратить внимание на слова А. И. Бибикина, которые в «Истории пугачевского бунта» писатель-историк повторяет дважды: «*Не Пугачев важен; важно общее негодование*» [12, т. 7]. Для Пушкина история пугачевского бунта становилась, в первую очередь, фактом замалчиваемого прошлого (преодоленного в «Истории пугачевского бунта»), но и существенным поводом обратиться к широкому кругу проблем, которые порождали то «всеобщее негодование», которое распространилось в обществе прежде и теперь. «Пугачевский бунт указал правительству на необходимость многих перемен» [Там же, т. 9], – писал Пушкин М. П. Погодину в январе 1831 года и те же слова мог повторить в 1836 году.

Список источников

1. А. С. Пушкин: *pro et contra*. Личность и творчество Александра Пушкина в оценке русских мыслителей и исследователей: в 3-х т. / сост. В. М. Маркович, Г. Е. Потапова. СПб.: Изд-во РХГА, 2000. Т. 1. 712 с.; Т. 2. 704 с.
2. Благий Д. Д. Мастерство Пушкина. М.: Советский писатель, 1955. 270 с.
3. Богданова О. В. «Наше описание вернее...» (А. С. Пушкин): образы Петра и бедного Евгения в «Медном всаднике» // Богданова О. В. Современный взгляд на русскую литературу XIX – середины XX в. (классика в новом прочтении). СПб.: Береста, 2017. С. 45-75.

4. **Виноградов В. В.** О языке художественной литературы. М.: Гослитиздат, 1959. 656 с.
5. **Гиллельсон М. И., Мушина И. Б.** Повесть А. С. Пушкина «Капитанская дочка». Комментарий. Л.: Просвещение, 1977. 192 с.
6. **Гуковский Г. А.** Пушкин и проблемы реалистического стиля. М.: Гослитиздат, 1957. 416 с.
7. **Измайлов Н. В.** Очерки творчества Пушкина. Л.: Наука, 1975. 340 с.
8. **Красухин Г. Г.** Путеводитель по роману А. С. Пушкина «Капитанская дочка». М.: Изд-во МГУ, 2006. 125 с.
9. **Лотман Ю. М.** В школе поэтического слова: Пушкин. Лермонтов. Гоголь. М.: Просвещение, 1988. 352 с.
10. **Макогоненко Г. П.** «Капитанская дочка» А. С. Пушкина. М.: Художественная литература, 1977. 110 с.
11. **Пашуто В. Т., Итенберг Б. С., Тарновский К. Н. и др.** Иллюстрированная история СССР. Изд-е 4-е, испр. и доп. М.: Мысль, 1987. 509 с.
12. **Пушкин А. С.** Полное собрание сочинений [Электронный ресурс]: в 10-ти т. Изд-е 4-е. Л.: Наука, 1977-1979. URL: <http://lib.pushkinskiydom.ru> (дата обращения: 15.01.2019).
13. **Томашевский Б. В.** Пушкин: в 2-х кн. / отв. ред. В. Г. Базанов. М. – Л.: Изд-во АН СССР, 1961. Кн. 2. Материалы к монографии (1824-1837). 575 с.

ALLUSIVE SUBTEXT IN A. S. PUSHKIN'S NOVEL "THE CAPTAIN'S DAUGHTER"

Bogdanova Ol'ga Vladimirovna, Doctor in Philology, Professor
Herzen State Pedagogical University of Russia, Saint Petersburg
olgabogdanova03@mail.ru

The article examines a text of the classical Russian literature – A. S. Pushkin's novel "The Captain's Daughter" interpreted repeatedly in the Russian literary criticism. However, the analysis proposes a new aspect of the study – the allusive subtext of the novel, which, in the author's opinion, is focused on building a parallel between the historic events depicted in the narrative and recent (for Pushkin's contemporaries) events that took place on Senate Square. The author shows that Pushkin deliberately included significant details, motives, circumstances in the text of the novel that should have inevitably generated direct allusions to the revolt of the nobility in December 1825 in his contemporaries' minds and stated the writer's thought about the "Russian revolt, senseless and merciless".

Key words and phrases: Russian literature of the XIX century; A. S. Pushkin; novel "The Captain's Daughter"; allusive subtext; historic events of December 14, 1825; actualization of Decembrist theme; cryptography of classical text.

УДК 82-6

Дата поступления рукописи: 04.12.2018

<https://doi.org/10.30853/filnauki.2019.3.77>

Целью настоящего исследования является изучение литературного мультилингвизма русской литературы первой половины XIX века. Впервые предпринимается попытка обращения к письмам А. И. Тургенева к В. А. Жуковскому на предмет изучения иноязычных вкраплений. Задача – выделить и осмыслить комплексно корпус иноязычных вкраплений и определить их типы, функции, а также описать характерные особенности их использования. Делается вывод о продуктивной роли вкраплений на латинском, английском, итальянском и немецком языках в поэтике дружеского послания. Вкрапления на немецком языке вписываются в нарративные стратегии в структуре жанра литературного путешествия и образуют коммуникативный код в диалоге с германофилом В. Жуковским.

Ключевые слова и фразы: литературный мультилингвизм; эпистолярный; эго-документы; А. Тургенев; В. Жуковский; языковая личность.

Вишнякова Екатерина Андреевна

Национальный исследовательский Томский государственный университет
ekaterina.vishniakova@mail.ru

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК В ДРУЖЕСКИХ ПОСЛАНИЯХ А. И. ТУРГЕНЕВА К В. А. ЖУКОВСКОМУ

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-312-00050.

Настоящая статья подготовлена в рамках исследования, посвященного изучению мультилингвизма русской литературы XIX века. Рассматривается эпистолярное наследие русских классиков на предмет наличия иноязычных вкраплений как формы мультилингвизма и определения их функций и принципов использования. Письма как ценный артефакт литературного быта эпохи позволяют углубить представления о языковой личности автора, его идеологии и специфике литературного мультилингвизма указанного периода.

Изучение иноязычных вкраплений (далее – ИВ) как специального явления в филологии сложилось, прежде всего, под влиянием лингвистической традиции в попытке их классификации и определения места среди иных типов иноязычной лексики в составе русского языка [8; 10]. Сегодня методология исследования иноязычных вкраплений приняла междисциплинарный характер. Так, выделяется переводоведческий подход,